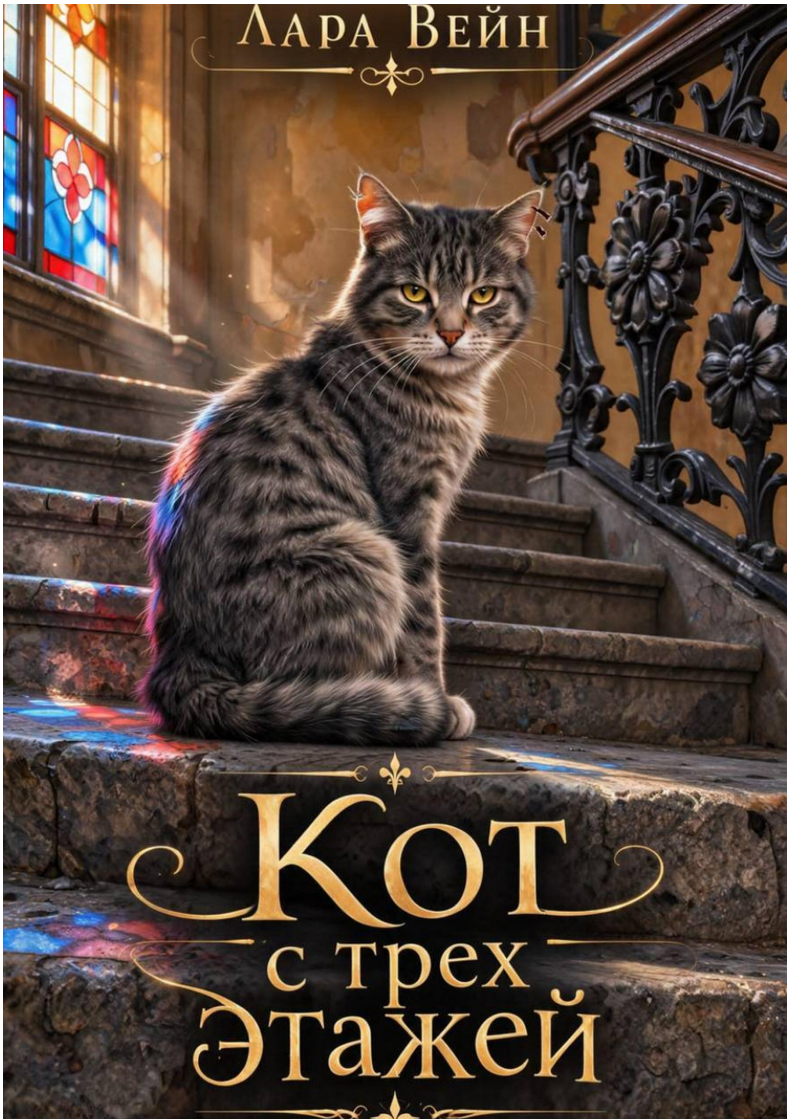

Лара Вейн
Кот
с трех
этажей

Лара Вейн

Кот с трех этажей

https://litres.ru/74784019
SelfPub; 2026

Аннотация

Обыкновенный серый кот триста лет живёт в доме у Сенной площади и кормится на трёх этажах под тремя разными именами. Он видел, как площадь вбивали кольями в пустырь, как город тонул, горел, голодал и отстраивался. Этим летом дом расселяют, и он рассказывает всё котёнку, похожему на него. Ради одного: он триста лет молчал, потому что не проверил, слышат ли его.

Содержание

Пролог. Бумага на двери	4
Часть первая. Погреб	10
Глава 2. Как я не рос	15
Глава 3. Дорога	20
Глава 4. Как ко мне пришла площадь	25
Глава 5. Мышиная бухгалтерия	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Лара Вейн
Кот с трех этажей

Пролог. Бумага на двери

Урр. Садись.

Не туда, там дует. Из-под двери тянет с тысяча восемьсот семьдесят четвёртого года, когда переложили порог, и с тех пор никто не поправил. Сядь вот сюда, к трубе. Труба тёплая. Она тёплая с сентября по май, а летом она просто труба, но ты садись всё равно, потому что место правильное: отсюда видно дверь и видно окно, и никто не подойдёт сзади.

Запомни: в любом помещении есть одно место, откуда видно и дверь, и окно. Его надо найти в первый же день. Я своё нашёл в тысяча семьсот тридцать первом году, и оно с тех пор не переезжало.

Урр.

Это я так урчу, не пугайся. Это не мурлыканье. Мурлыкать я мурлычу людям, когда надо, за сметану: это работа. А урчу — это я думаю. У меня в груди, когда думаю, само поднимается. Ты привыкнешь. Триста лет никто, кроме мышей, этого не слышал, а мышам было не до того.

Что ты на меня так смотришь?

Да. В тридцать первом. Тысяча семьсот. Не перебивай, я

ещё ничего не сказал.

Теперь слушай, что случилось сегодня, потому что с этого всё и начинается.

Сегодня утром, в десятом часу, на дверь парадной повесили бумагу. Вешали двое: один держал, другой клеил. Клеил он плохо, криво и на один скотч, и к обеду она отошла с угла. Я сидел на третьей ступени и смотрел. Читать я не умею. Ты это тоже запомни, это потом будет важно, и мне за это потом будет стыдно, но сейчас просто запомни: я триста лет прожил в доме, где читали вслух, и сам не выучился.

Бумагу мне прочитали три раза.

Первый раз её прочитала Марина со второго этажа. Она вышла с мусором, остановилась, прочитала про себя, потом вслух, потом сказала слово, которое я тебе не повторю, потому что ты маленький. Она сказала его негромко и с чувством. Потом она посмотрела на меня и сказала:

— Тишка, нас расселяют.

Второй раз её прочитал Аркадий Львович с третьего этажа. Он спускался за газетой. Он читал долго, в очках, потом снял очки, протёр, надел и прочитал ещё раз, как будто во второй раз там могло быть написано другое. Потом он сказал:

— Ну что ж, Тимофей Иванович. Вот и до нас дошло.

Третий раз её прочитала Зинаида Павловна с пятого. Она шла с рынка с двумя сумками. Она прочитала её не останавливаясь, на ходу, и сказала:

— Давно пора. Сорок лет обещают. Блохастый, уйди с дороги.

Урр. Вот тебе вся бумага. Дом ставят на капитальный ремонт. Жильцов расселяют до первого октября. После ремонта, сказано там, «возможен возврат». Аркадий Львович на слове «возможен» хмыкнул, а он мостовой инженер и хмыкает только по делу.

Ты понял, что произошло?

Нет, ты не понял. Ты понял, что люди уедут. А я тебе говорю про другое.

Ты слышал, как они меня назвали?

Тишка. Тимофей Иванович. Блохастый.

Это всё я. Это три разные квартиры на трёх разных этажах, и в каждой у меня своё блюдце, своё имя и своя, если хочешь знать, биография. На втором этаже я домашний кот, который любит гулять. На третьем я умный кот, с которым можно поговорить о мостах. На пятом я приблудная скотина, которую кормят из жалости каждый день двадцать лет подряд. И они между собой почти не знакомы. Марина думает, что Аркадий Львович живёт на четвёртом. Зинаида Павловна думает, что Марина — это та, которая съехала в двадцать шестом году. А про меня каждая квартира думает, что я — её.

И вот первого октября все три уезжают в три разные стороны.

Ну и что, скажешь ты. Найдёшь другие.

Найду. Я всегда находил. Я тебе потом объясню, как это делается, это ремесло, и ему можно выучиться, и я тебя выучу. Дело не в этом.

Дело в том, что я сегодня сидел на третьей ступени, слушал, как мне три раза читают одну бумагу, и ни одному из троих ничего не ответил.

Я никогда никому не отвечал. Триста лет. Я людям за всю жизнь сказал одно слово, и слово это «мау». Оно значит «откройте дверь». Больше я им ничего не говорил, потому что знал, что они не слышат. То есть я не знал. Я так решил. Мне было, я думаю, года два, когда я это решил, и больше я к этому вопросу не возвращался. Как решил, так и жил.

И я ошибся.

Вот это я тебе и буду рассказывать. Всё остальное, что я расскажу, а расскажу я много, потому что триста лет — это много, и город тут за это время вырос, сгорел, утонул, вымер, отстроился и подорожал, — всё остальное только затем, чтобы ты понял одну вещь. Я её скажу сейчас, а потом ещё раз в самом конце, и к концу ты её будешь слышать по-другому.

Я триста лет молчал, потому что решил, что меня не слышат. Я не проверил. Не делай, как я.

Всё. Это главное. Дальше подробности.

Теперь про тебя.

Ты думаешь, я не видел, как ты третий день ходишь в мой погреб и ешь из моего запаса за трубой? Я видел. Там была куриная шкурка от Марины и полсосиски от Зинаиды Пав-

ловны, и я их отложил на четверг. В четверг их не было. Я не в обиде. Я в твои годы таскал у булочника, и булочник был немец и дрался полотенцем.

Я на тебя третий день смотрю.

Ты серый. Полосатый. Обыкновенный. Таких, как ты, во дворе в любой год штук шесть, и люди вас не различают. Тебе во дворе никто слова не сказал, никто не спросил, чей ты и откуда, тебя не гнали и не звали. Тебя не заметили.

Меня тоже не заметили. Триста лет подряд.

Это большое удобство, ты его потом оценишь. И это большая беда, и её ты оценишь тоже, но позже.

Вот поэтому я с тобой и разговариваю. Не потому, что ты мне нравишься. Ты мне пока не нравишься, ты съел мою сосиску. А потому, что ты на меня похож, и у меня до первого октября три месяца, и мне есть что сказать.

Тебе сколько? Месяца три?

Не знаешь. Правильно, откуда тебе знать. Я за тебя посчитаю. Я всё считаю, у меня это вместо характера.

Ну что ты вертишься?

— Мя! Дед, а поесть есть?

Вот. Я ему про триста лет, а он мне «мя» и про поесть.

Нет. Поесть будет в шесть, на втором этаже, и я тебя туда не возьму, потому что там думают, что я у них один. Потерпишь. Я терпел и дольше.

— А долго рассказывать будешь?

До осени.

— А покороче нельзя?

Нельзя. Я пробовал покороче. Я двадцать один год пробовал покороче, и у меня выходило одно «мау».

Сиди. Слушай. Начинаю с начала, а начало у меня тут же, где ты сидишь, только пол тогда был земляной.

И не «ложи» хвост в лужу, а «клади». То есть вообще не клади, там мокро. Но если уж говоришь, то говори «клади». Меня этому учили восемнадцать лет, и я тебя тоже выучу, хочешь ты или нет.

Часть первая. Погреб
Глава 1. Кыш

Звали меня тогда Кыш.

Урр. Я родился в этом погребе в апреле тысяча семьсот тридцать первого года. Число я не знаю. Кошки чисел при рождении не записывают, а люди в тот день были заняты: наверху принимали обоз с овсом, и приказчик ругался так, что я, говорят, от этого и открыл глаза раньше срока. Это, конечно, неправда. Глаза я открыл, как все, на десятый день. Но мне нравится думать, что первое, что я услышал в жизни, была ругань из-за овса, потому что потом я слышал её ещё лет сто пятьдесят, и она мне как колыбельная.

Погреб тогда был тот же самый. Вот эти стены. Вот этот свод. Потрогай лапой: кирпич. Он большой, красный, неровный, его клали в тысяча семьсот тридцатом году, и клали хорошо, на извести, потому что хозяин был скуп на всё, кроме погреба. Хозяина звали Ермолай Лукич Ситников, он держал постоялый двор при дороге. Верх у двора был деревянный, в один этаж с мезонином, а низ каменный. Он говорил: изба сгорит, а погреб останется, и в погребе останется товар. И он оказался прав на триста лет вперёд, хотя про товар ошибся. Товар съели. В основном я.

Пол был земляной. Трубы не было. Окно было одно, вот

это, только без стекла, с деревянной заслонкой, и в него зимой задувало так, что на бочках лежал снег.

Нас у матери было четверо.

Мать я помню плохо. Не морщись, это не оттого, что я бессердечный. Это оттого, что прошло триста лет, а я её знал восемь. Она была серая, как я, только без полос на лапах, и у неё не было половины левого уса. Она ловила крыс. Не мышей — крыс, и это, чтоб ты знал, совсем другое ремесло, как плотник и столяр. Ермолай Лукич её за это уважал и один раз при мне сказал приказчику, что кошка в погребе стоит дороже сторожа, потому что сторож пьёт, а кошка нет.

Имени у неё не было. Её звали «кошка». Я потом долго думал, что это и есть самое честное имя из всех, какие я слышал, и что мне такого не досталось ни разу.

Нас было четверо: я, два брата и сестра. Братья были крупные, один чёрный с белым, другой серый. Сестра была трёхцветная, и её забрали первой, на шестой неделе, потому что трёхцветная к деньгам. Её взяла жена торговца сеном, и я её больше не видел. Я тогда не знал, что так будет всегда: что тех, кто рядом, забирают, и ты их больше не видишь. Я думал, это случай.

Теперь про имя.

Первое слово, которое мне сказал человек, было «кыш».

Сказала его кухарка. Я вылез из погреба по лестнице, а лестница тогда была приставная, деревянная, в девять перекладин, и я лез по ней, по моему счёту, полдня. Вылез я на

кухню. На кухне стояла женщина величиной с печь, и в руках у неё была рыба. Я посмотрел на рыбу. Женщина посмотрела на меня. И сказала:

— Кыш!

Я обрадовался.

Ты пойми: мне было шесть недель, и меня до этого никто никак не звал. А тут большой человек посмотрел прямо на меня и сказал слово. Коротко, ясно и лично мне. Я решил, что это моё имя.

И я на него откликался.

Она говорила «кыш», и я к ней шёл. Она говорила «кыш» громче, и я шёл быстрее, потому что думал: зовёт, торопится, надо уважить. Она махала на меня тряпкой, и я думал, что это такое приветствие. Я, малый, шесть лет на это имя отзывался. Не всё время, меня потом звали и по-другому, но у этой кухарки я был Кыш до самой её смерти, и когда она кричала с крыльца «кыш, окаянный», я являлся из любого угла двора, садился перед ней и ждал, что будет дальше.

Она под конец сдалась. Года через три она стала говорить «кыш» уже без тряпки, обыкновенным голосом, и ставила при этом плошку. Так что, если разобраться, кто из нас двоих был прав насчёт значения этого слова — ещё вопрос.

— Мя! Дед, так ты что, не знал, что «кыш» — это «пошёл вон»?

Урр. Не знал. Откуда? Мне никто не объяснил.

— А мне сразу понятно.

Тебе понятно, потому что тебе это слово говорят с правильным лицом. А у неё лицо было доброе. Она была из тех людей, которые ругаются всегда и на всех, и поэтому ругань у них ничего не значит. Таких много. Ты их научишься отличать. Зинаида Павловна с пятого этажа такая: она меня двадцать лет зовёт Блохастым и двадцать лет кормит. А бывают наоборот: говорят «кисонька» и норовят наступить.

Слово ничего не значит. Значит плошка.

Так. Это я вперёд забежал, это правило, а до правил мы ещё дойдём.

Урр. Теперь слушай внимательно, потому что это первое, что я должен тебе сказать про имена, и я про них буду говорить всю дорогу.

За триста лет меня назвали двести сорок один раз.

Я считал. Я каждое помню. «Кыш» у меня идёт первым номером, хотя по совести это не имя, а недоразумение. Но я его считаю, потому что я на него шёл.

Двести сорок один раз меня называли разные люди, в разных квартирах, на разных этажах, при одиннадцати государях и после них. Меня звали Васькой столько раз, что я сбился бы, если б не считал. Меня звали Мышеловом, Серым, Барином, Иродом, Немцем, Буржуем и Штирлицем. Одна дама в тысяча восемьсот шестидесятом году звала меня Жоржем, а её муж в той же квартире звал меня Скотиной, и я у них числю два номера, потому что это два разных человека и два разных отношения.

И ни одного раза меня не назвали моим именем.

Потому что его у меня нет.

Ты подумай. У тебя пока тоже нет, тебе три месяца, тебе простительно. А мне триста лет. Я — это двести сорок одно чужое слово, и когда никого рядом нет, я не знаю, как к себе обратиться.

Раньше меня это не заботило. Я думал, так и положено: кот ничей, кот сам по себе, имя — это человеческая блажь вроде занавесок. Я так думал двести семьдесят девять лет.

А потом узнал, что один человек звал меня по-другому. Не так, как при людях. По-настоящему. И записывал.

Но до этого мы дойдём не скоро. До этого ещё холера, два наводнения, лифт и попугай.

— А попугай — это кто?

Попугай — это сволочь. Но это нескоро.

Сиди. Сейчас будет про то, как я не рос, и ты это слушай в оба уха, потому что это тебя касается больше, чем ты думаешь.

Глава 2. Как я не рос

Я тогда был всё ещё Кыш, а потом стал Заморыш.

Первый год я не рос.

Ты это запомни. Я потом спрошу.

Братья мои росли как положено. К двум месяцам они были с рукавицу, к четырём — с шапку, а к полугоду это были два кота, которые ходили по двору хозяевами и дрались с петухом. Петух, кстати, побеждал. Петух в тридцать первом году на этом дворе побеждал всех, включая приказчика, и его в конце концов съели не от голода, а от обиды.

А я в полгода был как в два месяца.

Я не болел. Я ел, как все, а если честно, то больше всех, потому что уже тогда понял, что есть надо в трёх местах, а не в одном. Я бегал. Я лазил по той лестнице в девять перекладин уже не полдня, а в четыре прыжка. У меня всё было, как у кота. Только я был маленький.

Мать меня вылизывала дольше, чем остальных. Она, я думаю, решила, что я хворый и что долго не протяну. Кошки это умеют решать, и обычно они правы. Она меня держала при себе, когда братьев уже гнала, и носила мне мышей, когда я давно умел ловить сам. Я у неё брал. Отказываться было бы невежливо, да и мышь есть мышь.

Кухарка звала меня тогда уже двумя словами: «кыш, заморыш». Так что второе имя я получил, не сходя с места.

Номер два. «Заморыш».

Ермолай Лукич, хозяин, один раз взял меня за шкирку, поднял к свету, посмотрел и сказал приказчику:

— Этот не жилец. К зиме подохнет.

И положил обратно.

Урр. Я тебе скажу, малый: за триста лет про меня это говорили, по моему счёту, раз сорок. «Не жилец», «подохнет к зиме», «этот до весны не дотянет», а один фельдшер в тысяча восемьсот девяносто втором году осмотрел меня по просьбе жилицы и сказал, что мне осталось недели две. Фельдшера я пережил на сто тридцать девять лет. Я это не к тому, чтобы хвастать. Я к тому, что люди очень любят говорить, кому сколько осталось, и почти всегда про это ничего не знают.

Ермолай Лукич умер в тысяча семьсот сорок четвёртом году. К зиме.

Но ты слушай про рост.

Зиму я пережил. Она была, чтоб ты знал, не такая, как сейчас. Сейчас зима — это когда во дворе слякоть и дворник сыплет соль. А тогда зима была такая, что вода в бочке замерзала до дна и бочку рвало, и в погребе на стенах стоял иней толщиной в палец. Я спал на матери. Она спала на мешке с овсом. Мешок с овсом грел, потому что овёс, когда его много, преет и даёт тепло. Этого сейчас никто не знает, а я на этом выжил.

А весной я пошёл в рост.

Сразу. Как будто кто-то сказал «можно». За одно лето я

догнал братьев, а к двум годам был как все: обыкновенный серый кот, не большой и не маленький, не толстый и не тощий. Полосатый. Вот как сейчас. Я с двух лет, если разобраться, не изменился: у меня тогда было столько же полос, и ухо правое было ещё целое, это его мне потом порвали, в тысяча семьсот шестьдесят втором году, и я расскажу кто.

Мать на меня посмотрела и успокоилась. Она решила, что ошиблась. Я тоже так решил: ну, был хилый, выправился. Бывает.

И никто, малый, ни я, ни мать, ни кухарка, ни хозяин, никто тогда не понял, что это было.

А это было вот что. Это было первое и единственное, чем я отличался от остальных. Потом, когда я стал думать, почему я не умираю, а думать я про это стал лет через двадцать, когда уже нельзя было не думать, я перебрал всё. Что я ел. Где я спал. Какая была мать. Какая вода в колодце. Я перебирал это, по моему счёту, лет сорок, вечерами, и ничего не нашёл. Я ел то же, что братья. Я спал там же. Мать у нас была одна, и вода одна.

Одно только и было не как у всех: я первый год не рос.

Как будто мне дали отмашку позже. Как будто тому, у кого времени много, незачем торопиться.

Я тебе это говорю не для красоты.

— А для чего?

Узнаешь.

— Мя! Дед, а я расту?

Урр. Вот. Наконец-то хоть один правильный вопрос.

Я на тебя третий день смотрю, малый. Я тебе сказал, что тебе месяца три. Это я сказал по ушам и по зубам: уши у тебя уже стоят, и клыки молочные на месте. По ушам и зубам тебе три месяца, а то и три с половиной.

А по росту тебе шесть недель.

Нет, ты не пугайся. Может, тебя просто плохо кормили. Мать у тебя, я слышал, ушла рано, а во дворе у нас не разъешься, это не тысяча восемьсот восемьдесят шестой год, когда на площади стояли железные корпуса и из мясного ряда текло по мостовой. Может, ты просто голодал. Тогда ты у меня за лето отъешься, и вопрос закроется.

А может, и не голодал.

Я не знаю. Я правда не знаю. Это надо смотреть. Это видно к полугоду: либо ты к сентябрю будешь кот как кот, либо будешь как сейчас. И вот тогда я тебе скажу ещё кое-что.

— А что скажешь?

А вот не скажу.

То есть я подумаю, скажу или нет. Мне никто не сказал. Я до всего дошёл сам, и на это у меня ушло двадцать лет и ещё двести, и я не уверен, что если бы мне сказали сразу, вышло бы лучше.

Урр. Ладно. Ты пока просто ешь. Я тебе покажу, где на пятом этаже ставят у двери, и ты туда ходи после меня, я буду оставлять.

— А почему после тебя?

Потому что Зинаида Павловна знает, сколько съедает один кот. Она двадцать лет на это смотрит. Если миска будет вылизана до блеска, она решит, что я голодаю, и станет класть больше. А если ты придёшь при ней, она решит, что нас двое, и станет класть меньше, со злости. Люди так устроены: одного кота они кормят, а двух — гоняют. Одного им жалко, а двое — это уже нашествие.

Это тоже запомни. Это правило.

Правил у меня много. Я их не нарочно копил, они сами наросли. Ты их, конечно, слушать не будешь и все шишки набьёшь сам, но я их всё равно скажу, для порядка.

А теперь я тебе расскажу, что было вокруг. Потому что ты думаешь, что вот это всё — площадь, дома, метро, шесть улиц, толпа с утра до ночи, — что это тут было всегда.

А тут, малый, была дорога и болото. И волки.

— Волки?

Волки. Сиди ровно.

Глава 3. Дорога

Тут я в первый раз стал Васька.

Урр. Городу, когда я родился, было двадцать восемь лет.

Ты это себе представь. Мне сейчас триста, а городу триста двадцать восемь. Он меня старше совсем чуть-чуть, как старший брат, и я к нему всю жизнь так и отношусь: с уважением, но без трепета. Я его помню подростком. Он был нескладный, сырой, весь в лесах, от него пахло стружкой и дёгтем, и он очень много о себе думал. Он, собственно, до сих пор много о себе думает, но теперь у него хотя бы есть основания.

Так вот. Города тут не было.

Город был там. Вон в ту сторону, за Мойкой, где Адмиралтейство. Там были улицы, каменные дома, верфь, там жили господа, и оттуда по ночам было слышно, как бьют в колотушку караульные. А тут, где мы с тобой сидим, была окраина. Сюда город ещё не дошёл.

Тут шла дорога.

Она шла из города на юг, на Москву и на Царское Село, и была она не мощёная, а так: колеи, гать и по бокам канавы. Весной по ней плыли. Осенью в ней вязли. Летом по ней поднималась пыль до неба, и из этой пыли выезжали возы.

Возы были с сеном.

Вот отсюда всё и пошло, малый, поэтому слушай. Городу

нужно было сено. В городе стояли лошади: тысячи, потом десятки тысяч. Всё, что в городе двигалось, двигалось на лошади, а лошадь ест сено и овёс, каждый день, зимой и летом. И вот это сено везли в город по нашей дороге из деревень, и у самого въезда возы останавливались. Потому что дальше стояла застава, и надо было ждать, платить и ругаться.

А где возы стоят, там и постоялый двор.

Вот Ермолай Лукич и поставил свой двор у дороги. В тысяча семьсот тридцатом году. Изба, конюшня, навес, колодец и погреб. Мужики заворачивали к нему, ставили лошадей, пили сбитень, ночевали, а утром ехали в город торговать. И при дворе всегда стояло возов десять, а в хороший день тридцать, и весь двор был в сене: оно лежало на земле, висело на заборе, его носило ветром, и я в нём вырос.

Урр. Я тебе скажу, чем пахло моё детство. Сеном, лошадью и болотом.

Болото было сразу за двором. Вот где сейчас канал с горбатыми мостиками, там текла речка, и звали её Кривуша, потому что она была кривая, как всё в этой местности. Она текла из болота в болото, цвела, воняла, и в ней по ночам кричали лягушки так, что постояльцы жаловались. А за речкой был лес. Не парк, не сад — лес: ёлки, ольха и кочки.

И в лесу были волки.

Я не для страху говорю. Я их слышал. Зимой, в тридцатых годах, они выли за Кривушей, и лошади в конюшне от этого не спали. А один раз, в январе, я точно не скажу какого года,

но я был уже взрослый, волки зашли на дорогу у самой заставы и задрали собаку. Об этом говорили на дворе неделю. Мужики стали ездить обозом, а не поодиночке, и Ермолай Лукич завёл второго сторожа.

Вот так, малый. На том месте, где ты вчера видел, как девица в наушниках ест шаверму и не смотрит по сторонам, выли волки. И между волками и шавермой — один я.

— Мя! Дед, а шаверма тогда была?

Нет.

— А что было?

Сбитень, калачи и квашеная капуста.

— Фу.

Урр. Не «фу». Ты не пробовал калач из той печи.

Теперь про людей. Жили тут, вокруг двора, люди простые. Слободы стояли: это значит, селили по ремеслу. Тут были те, кого пригнали строить город и на верфь работать. Плотники, каменщики, возчики. Избы у них были деревянные, низкие, огороды с капустой. Народ был разный, из разных мест: кто из-под Вологды, кто из-под Ярославля, кто откуда. Их сюда не звали, их переводили указом, и слободы так и назывались: Переведенские. Многие по дому тосковали. Я это знаю, потому что они про это пели, а поют люди, когда думают, что никто не слушает.

Я слушал.

Я, малый, всю жизнь слушаю. Это у меня главное занятие, главнее мышей. Сядешь на заборе, глаза прикроешь, вроде

спишь, и люди при тебе говорят всё. Они же думают, ты кот. Они думают, тебе всё равно.

А мне не всё равно. Мне, если хочешь знать, только это и было интересно.

Теперь про то, как меня назвали Васькой.

Кухарка, которая «кыш», была при дворе главная по еде. А была ещё девка, Агафья, которая мыла полы и носила воду. Ей было, я думаю, лет пятнадцать, она была из тех самых переведенских, рыжая, босая до самого снега и вечно сонная. Вот она меня первая взяла на руки.

Я не давался. Я был, чтоб ты знал, не из тех, кто даётся. Я и сейчас не из тех, хотя на втором этаже думают иначе, и я их не разубеждаю. Но она взяла меня не как берут кота, а как берут полено: под живот, без спросу, и понесла. И пока несла, говорила:

— Васька ты, Васька. Васька-васёк.

И я понял, что это опять ко мне.

Ты заметь: «кыш» мне сказали в лицо и с тряпкой, и я решил, что это имя. А «Васька» мне сказали в затылок, на ходу, между делом, и это было имя на самом деле. Я разницу почувствовал не сразу. Но почувствовал. «Кыш» говорили мне. А «Васька» говорили про меня, как про своего.

Номер три. «Васька».

Я этим именем потом был, по моему счёту, двадцать шесть раз. Каждый раз новые люди и каждый раз они думали, что придумали сами. Ты ещё узнаешь: в этом городе, если

ты серый и полосатый, ты первым делом Васька, а уже потом всё остальное. Это как отчество. Тебя ещё не разглядели, а уже назвали.

Агафья прожила на дворе четыре года, а потом её выдали за возчика и увезли в Ям-Ижору. Я её больше не видел. Я опять решил, что это случай.

Я, малый, очень долго думал, что это всё случаи.

А вот теперь слушай, как ко мне пришла площадь. Потому что это не я поселился на площади. Я поселился при дороге, в тихом месте, у болота. А площадь пришла сама, через шесть лет, с верёвками и кольями, и спросить меня забыли.

И началось всё с того, что за Мойкой загорелось.

Глава 4. Как ко мне пришла площадь

Был я тогда Васька, а одну зиму — Леший.

Горело два лета подряд.

Сначала в августе тридцать шестого года, потом в июне тридцать седьмого. Горело не у нас. Горело там, за Мойкой, в Морской слободе, где дома стояли тесно, деревянные, крыша к крыше. Я на пожар не ходил. Я тебе сразу скажу, чтоб ты потом не спрашивал: я вообще почти никуда не ходил. У меня правило. Моё место — вот этот дом и то, что видно с его крыши, а что дальше, то я знаю с чужих слов и так и буду говорить: «говорили». Когда я говорю «я видел» — значит, видел. Когда «говорили» — значит, слышал на дворе, на рынке или на лестнице, и за это я ручаюсь только наполовину.

Так вот, пожар я видел с крыши конюшни.

Ночью. Небо над городом стало рыжее, как Агафьина коса, и по нему летели искры, и даже до нас, за версту с лишним, доносило гарь. Лошади бились. Мужики стояли посреди двора в одних рубахах, смотрели и крестились. Ермолай Лукич велел поставить на крышу двоих с вёдрами, хотя до нас огню было не дойти. Он был такой человек: до него не дойдёт, а он двоих поставит.

Говорили, сгорело больше тысячи дворов. Говорили про поджигателей, и кого-то, говорили, казнили. Этого я не видел и врать не буду.

А видел я то, что было после.

После пожаров, малый, в городе испугались. Не люди, а начальство. Люди пугаются на неделю, а начальство — надолго, и когда оно пугается, оно заводит комиссию. Завели. Называлась она длинно: Комиссия о Санкт-Петербургском строении. И комиссия эта решила, что город строили как попало, а надо строить по плану: улицы прямые, дома каменные, а всё, что горит, — сено, солому и дрова — из города убрать подальше, на окраину.

На окраину — это ко мне.

Я это узнал вот как. В тридцать седьмом году, осенью, на наш пустырь перед двором пришли люди. Их было шестеро. Двое были господа в кафтанах, с бумагой, а четверо — мужики с верёвками и кольями. Они ходили по пустырю весь день. Один господин смотрел в трубку на ножках, другой писал. Мужики вбивали кол, тянули верёвку, вбивали другой. Я сидел на заборе и не понимал.

Я, малый, тогда первый раз в жизни увидел, как место, которое было ничьё и никакое, размечают. Они ходили по кочкам, по лопухам, по той самой луже, где я весной ловил лягушат, и вбивали колья. И там, где была лужа, у них выходил угол. А где лопухи — середина.

Ермолай Лукич вышел к ним, снял шапку и долго разго-

варивал. Вернулся красный. Сказал приказчику:

— Площадь будет. Торговая. Сено, дрова, солома — всё сюда. Прямо под окна.

Приказчик спросил, хорошо это или худо.

Ермолай Лукич подумал и сказал:

— Постояльцу худо: шум. А мне, пожалуй, хорошо.

И пошёл считать.

Он оказался прав, а я тебе скажу, что это было для меня.

Через год тут было не узнать. Возы, которые раньше шли мимо в город, теперь никуда не шли. Они вставали прямо тут. Сотня возов. Потом две сотни. Сено продавали с воза, на вес и на глаз, тут же торговали соломой, дровами, лыком, дёгтем. Потом пошёл скот, потом конный торг, и какое-то время площадь звали Конной. Потом птица, потом всякая еда. А потом уже никто не помнил, с чего началось, и звали её как придётся, пока не устоялось: Сенная.

Вот и вся история. Никто её не строил, как строят дворцы. Её вбили кольями в пустырь, потому что испугались пожара.

— Мя! Дед, а при чём тут ты?

При том, что где сено, там мыши.

Ты, малый, не понимаешь, что такое двести возов сена. В каждом возу, пока он ехал из деревни, уже сидело по семейству. Мышь в сене едет в город, как барыня в карете: мягко, тепло и еда под боком. И вот они все приезжали сюда. Каждый день. Со всей губернии.

Я вышел на площадь в первый раз, сел у крайнего воза

и просидел, по моему счёту, полчаса не шевелясь. Просто слушал. Сено шуршало. Оно всё шуршало, малый, целиком, во все стороны, как будто в нём шёл дождь.

Я тебе не буду врать, что я был охотник лучше других. Мать была лучше. Она брала крыс, а я крыс побаивался и до сих пор побаиваюсь, это звери серьёзные. Но мышей на площади в те годы было столько, что уметь было не надо. Надо было не лениться.

И я понял первую в своей жизни важную вещь. Не правило ещё, а так, наблюдение.

Я понял, что сидеть на месте — выгоднее, чем ходить.

Братья мои ушли. Один, чёрный с белым, ушёл в город, за Мойку, искать лучшей жизни, и про него потом говорили, что его видели при каком-то господском доме. Другой подался с обозом, залез в воз и уехал, я думаю, куда-нибудь под Новгород. Они были крупные, сильные, им было тесно. А я остался в погребе. И вышло, что всё, за чем они ушли, пришло ко мне само: и еда, и город, и люди. Надо было только подождать шесть лет.

Я с тех пор так и живу. Я никуда не хожу, а мимо меня всё проходит.

Теперь про Лешего.

Это номер четыре, и это было недолго, одну зиму. Был на площади мужик, торговал дровами, сам из-под Тихвина. Борода до пояса, армяк, голос как из бочки. Он ставил воз всегда на одно место, у нашего забора, и я на его возу спал,

потому что дрова были берёзовые, сухие, и от них пахло хорошо. Он меня не гнал. Он, когда приходил утром и видел меня на поленнице, говорил:

— А, леший. Опять тут.

И я был Леший. Он мне ничего не давал, ему самому было нечего. Но он со мной разговаривал. Сядет на оглоблю, достанет хлеб с луком и говорит, говорит: про жену, про корову, про то, что барин дерёт три шкуры, про то, что дрова в этот год дёшевы, потому что зима мягкая. Я слушал. Он думал, что говорит сам с собой.

Весной он не приехал. И на другую зиму не приехал.

Я его ждал. Не то чтобы ждал, а так: выходил утром к забору и смотрел, стоит ли воз.

Это, малый, я тебе говорю затем, чтобы ты знал. Их будет много. Они будут приходить, садиться рядом, говорить с тобой, думая, что говорят сами с собой, и потом не приходить. И ты каждый раз будешь выходить к забору.

Я выходил двести сорок один раз.

— А он тебя слышал, этот, с бородой?

Не знаю.

Я ему ничего не говорил.

Вот в том-то и дело, малый. Я ему ничего не говорил.

Глава 5. Мышиная бухгалтерия

Звали меня в те годы Мышелов, и это единственное имя, которое я заработал.

Урр. Я тебе сейчас объясню, как устроен рынок. Ты это должен знать, потому что ты живёшь на рыночной площади, хоть рынка на ней давно и нет, а площадь всё равно помнит, чем была, и ведёт себя соответственно.

Рынок устроен так. Один человек привозит то, чего у него много. Другой приходит с тем, чего у него мало, то есть с деньгами. Они встают друг против друга и начинают врать. Первый врёт, что товар у него лучший и отдаёт он его себе в убыток. Второй врёт, что товар дрянь и что за углом вдвое дешевле. Врут они долго, с удовольствием, божатся, бьют шапкой оземь, уходят и возвращаются. А потом бьют по рукам, и оба довольны, и оба считают, что обманули другого.

Я смотрел на это двести лет и пришёл к выводу, что деньги тут вообще ни при чём. Люди ходят на рынок поговорить.

— Мя! Дед, это ты сам придумал?

Сам.

— А по-моему, они за едой ходят.

За едой можно сходить молча. А они не молчат. Ты вот завтра выйди на угол, где бабушки с укропом сидят, и послушай. Им этот укроп никто не запрещает продать за минуту. А они сидят до вечера.

Урр. Ладно. Не спорь со старшими. Слушай дальше.

Сено продавали с воза. Мужик приезжал затемно, вставал в ряд, и к рассвету на площади стояло уже всё: рядами, оглоблями вверх, сколько глаз хватает. Покупали кто как: извозчик брал охапку на день, барский эконом — возами на зиму, полковой фуражир — сразу пол-площади. Сено пробовали. Его нюхали, мяли, совали руку в середину воза, не прелое ли, не подмочено ли для веса. За подмоченное били.

Были весы. Большие, на столбах, казённые, и при них сидел особый человек, весовщик, и брал за каждый воз. Его не любили. Про него говорили, что гири у него с дыркой, а в дырке свинец. Правда это или нет, я не знаю, я в гирях не разбираюсь. Но весовщик за восемь лет поставил себе дом в два жилья, а мужики как приезжали в лаптях, так и уезжали.

И был мусор.

Вот это главное. Ты, малый, никогда не видел, сколько остаётся после сенного торга. Вечером возы разъезжались, а на площади лежало: труха, клочья, просыпанный овёс, конский навоз, солома, щепа. Слоем. По щиколотку человеку, а мне по грудь. И во всём этом жило, шуршало и размножалось.

Теперь бухгалтерия.

Я тогда считал так. Мышь приезжает в возу. Воз продали, сено унесли, а мышь остаётся: куда ей в город, она деревенская. Она слезает и идёт в труху. В трухе овёс. Она ест овёс и через три недели приносит шестерых. Шестеро едят овёс

и через два месяца приносят каждая по шесть. Я до тридцати шести досчитал уверенно, а дальше у меня выходило так много, что я бросил и стал просто ловить.

Я ловил за ночь, по моему счёту, от шести до одиннадцати. Ел двух, много трёх. Остальных носил.

Вот тут слушай внимательно, это начало ремесла.

Я носил их Ермолаю Лукичу. Не ему в руки, а на крыльцо. Клал рядком, головами в одну сторону. Утром он выходил, смотрел и говорил приказчику:

— Гляди-ка. Мышелов.

Номер пять. «Мышелов».

И велел кухарке, той самой, которая «кыш», давать мне сметаны. Кухарка говорила, что сметаны жалко. А он говорил: не жалко, он её отработал.

Ты понял, что произошло? Нет? Объясняю.

Мне эти мыши были не нужны. Я был сыт. Но я увидел, что человеку нравится, когда они лежат рядком. Человек любит, когда ему показывают работу. Не саму работу он любит — мышей он и не видел бы, не будь они на крыльце, — а чтобы она была выложена и чтобы можно было сказать приказчику «гляди-ка».

И я стал выкладывать.

Я потом за триста лет много раз видел, как люди делают то же самое друг для друга. Чиновник с третьего этажа в тысяча восемьсот двадцатых годах каждое утро нёс под мышкой толстую папку, хотя в папке, я заглядывал, лежал один ли-

сток и бутерброд. Нэпман в двадцать третьем году выставлял в окно граммофон трубой наружу. А нынче Олег со второго этажа, Маринин муж, когда приходят гости, первым делом ведёт их смотреть, как он положил плитку в ванной. Это всё мыши на крыльце, малый. Только я их хотя бы поймал.

Теперь про то, чего я тогда не понимал.

Я думал, что так будет всегда. Что площадь — это сено, а сено — это мыши, а мыши — это сметана, и что я нашёл себе вечное место при вечном деле. Мне было лет шесть-семь. По кошачьему счёту я был мужчина в расцвете, с положением, с именем, заработанным честно, и со своим крыльцом.

И я не знал двух вещей.

Первая: что лошадей когда-нибудь не станет. Что придёт день, а пришёл он не скоро, лет через сто восемьдесят, когда по площади поедет железная повозка без лошади, и люди будут на неё оборачиваться и плеваться, а потом привыкнут. И сено станет не нужно. И площадь, которую завели ради сена, забудет, зачем она, и на ней будут торговать мясом, потом керосином, потом пластинками, потом валютой, потом телефонами. А называться она будет всё так же. Как человек, которого в детстве прозвали Рыжим, а он давно лысый.

А вторая вещь, которой я не знал, была про меня самого.

Мне было семь лет. В семь лет кот — это кот в силе. В десять он матёрый. В двенадцать начинает сдавать: дольше спит, тяжелее прыгает. В пятнадцать это старик. В восемнадцать — редкость, про таких рассказывают.

Мать моя умерла на девятом году. Тихо, в погребе, на том самом мешке. Утром я пришёл с площади и понял ещё с лестницы.

Я, малый, сидел с ней до вечера. Потом пришёл приказчик, взял её за хвост и вынес. Он не со зла. Он не знал, как ещё.

А я остался. И стал ждать, когда начну сдавать сам.

— И чего?

И ничего.

— Сов

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.